



ФОСКО МАРАЙНИ

ТАЙНЫЙ ТИБЕТ

БУДДА ЧЕТВЕРТОЙ ЭПОХИ

Фоско Марайни Тайный Тибет. Будды четвертой эпохи

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4994549

Тайный Тибет. Будды четвертой эпохи: Центрполиграф; Москва; 2013

ISBN 978-5-9524-5064-6

Аннотация

Известный ученый и путешественник Фоско Марайни глубоко изучил тибетскую культуру и религию. Его книга – плод длительного и необычайно увлекательного путешествия в Тибет, на корабле, поездом, а затем караванным путем в Лхасу – написана языком настоящего мастера слова. Побывав в тибетских монастырях, Марайни описал их обитателей, уклад, традиции, мистические ритуалы и подчас забавные особенности быта. Любуясь чортенами, символическими изображениями всей ламаистской космогонии, автор объяснил их смысл и значение для тибетской религии. Он также представил подробности жизни всех слоев тибетского общества от крестьян до светской и религиозной знати. Особое внимание Марайни уделил понятию ламаизма, и прежде всего личности того, кто инициировал великое движение, – Гуатаме Будде Пробужденному.

Содержание

Вместо предисловия	4
Глава 1	8
Глава 2	34
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Фоско Марайни

Тайный Тибет. Будды четвертой эпохи

Вместо предисловия

Дорогой Фоско!

Я только что прочел вашу книгу о поездке в Тибет. Я читал книги многих путешественников, писавших о Крыше Мира и неприступных подступах к ней в горах и пустынях. Даже моим любимым путешественникам, французу Эваристу Гюку сто лет назад и японцу Экаи Кавагути недавно, не удалось, как удалось вам, заставить меня забыть о том, что я не рядом с вами. Только «Покинутая Аравия» Даути, «Долина убийц» Фрейи Старк и «Пустыня Гоби» Милдред Кейбл так же увлекали меня за собой, как ваша книга. Я промокал насквозь, промерзал до костей, меня воротило от вони и тошнило от еды, я падал от усталости, вдыхал свежий, полный озона утренний воздух и радовался теплу летнего дня. Но в первую очередь я был вместе с вами, когда вы говорили с тибетцами, мирянами и духовенством, мистиками, учеными, богословами, скоморохами, лавочниками, нищими, ремесленниками и художниками, священниками-пролетария-

ми и монахами, крестьянами и пастухами. Как и вы, привыкнув к их великолепным одежаниям, их грязи, их лохмотьям, их вони, я встретил собратьев, необычайно похожих на нас самих.

В культурном смысле это наилучшая рекомендация для путешествия. Очень трудно преодолеть укоренившееся убеждение, почти что аксиому, что мы – единственные в мире есть рациональные люди и что никакой иностранец, даже из западной страны, не похож на нас. Нужен готовый на сопереживание и продолжительный контакт, чтобы мы поняли, что есть люди такие же добрые, верные и умные, какими, несомненно, мы считаем себя.

Для этого необходимо путешествовать, как странники, как вы путешествовали по Тибету, а не так, как все чаще делаем мы сейчас, словно письма в плотно запечатанных конвертах, так называемых «скорых поездах» или, того хуже, самолетах, не видя и не слыша ничего, кроме лязга и свиста транспортного средства, доставляющего нас от одного делового или любовного предприятия к другому в фальшивой одинаковости – одинаковости, рассчитанной на то, чтобы если и не отвергать, то игнорировать духовные запросы или простое любопытство какого бы то ни было рода.

Хотелось бы ожидать, что путешествие в старинном смысле слова не закончится для молодых обнищавших наследников культуры, которые ходят в походы, «зачарованных странников», которые ночуют в хостелах и под открытым небом,

смотрят и видят, наслаждаются, и слушают, и учатся.

Как хорошо вы пишете! Как удастся вам передать всевозможные сведения, и ощущения, и ответную реакцию! Вы смогли внушить мне желание пофлиртовать с молодой сиккимской принцессой, наполовину европеизированной, но при этом с тоской стремящейся в Лхасу не как в священный город, каким он предстает для европейцев, а как в модный, предающийся удовольствиям Париж. А ваш обратный полет из Индии в Италию, из Калькутты в Рим, какие ассоциации, чего стоят одни только названия мест, над которыми вы пролетали!

До сей поры расстояние придавало прелесть названиям стран и городов, рождало тоску – *dahin*, туда – по дальнему, почти недостижимому, недоступному, добраться до которого потребовалась бы смелость, сноровка, большие средства и удача, а еще и хитрость. Да и время – этот Шива, хранитель и разрушитель всего сущего, – сейчас все больше и больше и еще больше не принимается в расчет, только что не отменяется, современным транспортом.

Как-то Итало Бальбо сошел с самолета в Гадамесе и спросил у шейхов, которые собрались оказать ему почести, сколько времени уходит на путь до Триполи. «Двадцать восемь дней». – «Я прилетел сюда за три часа». – «А что же ты делал остальные двадцать семь дней?» Они жили в пути. Он только совершил перелет.

Есть, пожалуй, значительная разница между прошлым и

настоящим. Сейчас мы живем не как условие независимое от сознательных действий, то только, если вообще, в промежутках между действиями.

Это не ваш случай, и позвольте мне еще раз поздравить вас и поблагодарить за все те интереснейшие наблюдения и указания, которые дала мне ваша книга.

Искренне ваш,

Бернард Беренсон, Вилла Татти, Сеттиньяно, Флоренция

Глава 1

Из Неаполя к йогам

Неапольская гавань: перепахивая книги

На набережной у небольшого судна большая суматоха.

Из Рима прибыл грузовик с багажом для экспедиции, и повсюду сложены ящики, мешки и коробки с ярлыками «Экспедиция профессора Туччи в Тибет». Кран поднимает все это на борт, а один из помощников профессора, вооруженный очками, карандашом и блокнотом, внимательно все проверяет с видом человека, который разбирает тохарские глаголы в какой-нибудь древней рукописи или расшифровывает редкие китайские иероглифы.

Мы с женой приехали туда в последний момент в машине Пьеро Меле. Мать Пьеро попрощалась с ним в гостинице. Как это разумно! Прощаться на вокзале – еще куда ни шло, но прощаться в порту – это просто ужас. Когда покидаешь любимых людей, гораздо лучше попрощаться раньше, не дожидаясь бесконечно, пока отойдет корабль. Именно в таких обстоятельствах я в последний раз видел свою мать, давным-давно в 1938 году, когда уплывал из Бриндизи в Японию и она осталась стоять на набережной. Разошлись

уже последние любопытные зеваки, последние таможенники вернулись в свои конторы, но она все стояла, маленькая, тонкая, одинокая фигурка на берегу. Почти стемнело, а она все стояла. Я смотрел на нее, она смотрела на меня, и потом я больше уж ее не видел. Я больше никогда ее не видел.

Тем временем собрались поднимать трап. Весь багаж на борту. У Джузеппе Туччи, известного итальянского исследователя, осталось две минуты. Он, как подобает, появляется, прощается со своими ассистентами, приехавшими из Рима его проводить, с сыном, который машет ему платком, с несколькими неаполитанскими друзьями, которые спустились в гавань ради такого случая. Он невысок, ему лет пятьдесят пять, у него странная голова философа с буйной шевелюрой и усами. По правилам, он должен быть одет в манере больше напоминающей восьмидесятые, но внешность не очень его интересует. Под мышкой у него, как всегда, книга. Я готов поклясться, что через пять минут он пристроится где-нибудь в уголке и станет ее читать. Читать? Неправильное слово. Чтобы верно описать процесс, нужно какое-нибудь другое слово, вроде «перепаживать». Да, Туччи перепаживает книги. Я часто наблюдал за ним. Он усеивает их карандашными заметками, подчеркивает абзацы, читает вслух заголовки глав, приходит в ярость, когда автор допускает какую-нибудь глупость, или восклицает «Черт возьми!», если фраза вызвала его искреннее одобрение. Потом, когда книга отдаст все, что может, как пшеничное поле после жатвы, она

падает на палубу, выжатая и истощенная.

В море: Вильдо и начало всего

Вильдо наскакивает на меня и лижет руки.

Этот Вильдо – из тех собак, которые чем уродливее, тем больше от тебя требуют ими восхищаться. О его масти, какой-то блеклой буро-фиолетовой, чем меньше говоришь, тем лучше; что касается густой шерсти, которой снабдила его природа, то ножниц избегли только хохолок на макушке, кисточка на хвосте и носочки на лапах. Выражение морды в некотором роде жалкое; то и дело он как будто восклицает: «Что они со мной сотворили?» Но вскоре выясняется, что Вильдо глуп. А глупая собака, если она не красива, – это непростительно. Хозяин и хозяйка Вильдо американцы, муж с женой, очень богатые и столь же замкнутые. Они везут с собой автомобиль, длинный, как линкор. Они живут в капитанской каюте. Они производят впечатление людей, принадлежащих к миру большой моды. Они плывут в Индию.

В бар то и дело входят пассажиры, как это бывает на корабле вскоре после того, как он покинет порт. Скоро зазвонит колокол, они уйдут, и снова будет тихо. И все равно любопытно отметить, как удастся сосредоточиться на самых малопонятных предметах – тибетцах, например, – когда со всех сторон происходит какое-то движение. Я только что нашел прекрасное и глубокое выражение – кунши, – что озна-

чает изначальный источник, первопричину всего. Это не бог, как можно было бы подумать, а душа, разум, начало осознания. Мы на Западе всегда представляли себе ум в качестве некоего зеркала внешнего мира, в то время как тибетцы (наследники Индии) с незапамятных времен были крайними идеалистами. Это именно «я», которое творит мир, и любое другое предположение просто нелепо. Разум – не зеркало, внешний мир – иллюзия.

Пока я потягиваю виски в баре вместе с Пьеро, который пришел составить мне компанию, снова появляется Вильдо. Что касается этого животного, то позвольте мне сказать, что я могу почти все принять как проекцию своего «я», но только не Вильдо. Для меня Вильдо – это нетварное, вечное существо, и я отказываюсь создавать такие ужасы даже в самых бессознательных глубинах своего бессознания. Я возвращаюсь к изучению тибетского языка. Пассажиры ходят взад-вперед, несколько мальчишек с гвалтом носятся вокруг. В воздухе витает возбуждение. Тибетский – приятный язык; у него нет ни единственного, ни множественного числа, ни рода, ни артиклей, не говоря уже о других грамматических сложностях, как в более привычных языках. Зато в тибетском есть формы почтения, эти ужасные формы почтения. Например, если говоришь об обычном человеке, то «умереть» будет «шакпа», а если умирает важный лама, то это «кушинг лашпхеп-па», а если далай-лама, то уже «кушинг-ла чипгью нангва», что означает «с честью телесно вознестись

в рай».

Опять Вильдо, в третий раз. Кажется, его имя – это Довиль задом наперед: Довиль, Вильдо. Нет, Вильдо, мы никогда не будем друзьями; ты слишком безобразен и слишком глуп. Или, может, мы будем друзьями только потому, что ты такое жалкое маленькое чудище?

Мы точно уже оставили Неаполь позади. Время сменило темп. Мы видели Капри; потом наступила ночь. В первую ночь на борту всегда испытываешь особенное чувство: кто не выглядывал в иллюминатор, чтобы полюбоваться на последний вечерний луч над стальным морем? «Расставанье – маленькая смерть» и т. д. Новая жизнь еще не началась. Однако, когда ты принимаешь участие в «экспедиции», это первая возможность со вздохом откинуться на спинку кресла и подумать: «Ну, во всяком случае, начало положено».

Все еще в море

В эти первые несколько дней мне удалось кое-что выяснить. Я выяснил, например, кто самый важный пассажир на судне – пассажир, с которым надо подружиться, как сказал бы последователь принципов Макиавелли. Это Вильдо. Американская пара – король и королева корабля, окружающие внимают каждому их слову; а Вильдо – это король американцев, и мельчайшее его желание немедленно исполняется. Когда Вильдо спит, везде стоит тишина. Когда Вильдо хо-

чет поиграть или побегать, поднимается суматоха. Вильдо не любит рыбу, и поэтому рыбу не подают. Вильдо испугался – пожалуйста, стойте смирно! Вильдо торопится – прошу уйти с дороги! Короче говоря, Вильдо наш повелитель. Когда он играет, как он человечен! Когда он бежит, как он проворен! А когда стоит на месте, какое божественное совершенство!

Между тем мои уроки тибетского принесли любопытные результаты. Например, «который час?» по-тибетски будет «чуцо кацо», что буквально означает «сколько на водяном мериле?» – воспоминание о той поре, когда для измерения времени пользовались клепсидрой. В друк танг чека – то есть в половине седьмого – первый гонг. Я спускаюсь и переодеваюсь, потом возвращаюсь в бар, чтобы, как обычно, выпить коктейль с Джейн и Пьеро.

Странная штука, у Джейн, хозяйки Вильдо, молодое лицо, хотя волосы уже седые. У нее свежее лицо, ясные глаза, а улыбка одновременно добрая и коварная. Она определенно ближе к пятидесяти, чем к сорока, или, может быть, ее пятидесятый день рождения уже в прошлом. Кожа на руках явно принадлежит пожилой женщине, но щеки и выражение лица как у девушки. Она остроумна, повидала мир, восхищается Торнтоном Уайлдером, верит в переселение душ, знает всех модных парижских портных и презирает нью-йоркскую бегему.

Ее муж в полном рабстве у Вильдо. Джейн относится к собаке, как если бы это был человек. Она нежна с ним, но

никогда не сюсюкает. Но поведение мистера Миллисента по отношению к Вильдо ничем иным, кроме сюсюканья, не назовешь. Достаточно только упомянуть при нем его звереныша, как он тут же становится слащавым. Это высокий мужчина с левантийской внешностью, с длинными пальцами, похожими на тонкую спаржу. Я ошибаюсь или он носит золотой браслет? Еще у него длинные, тонкие, чрезвычайно белые ноги с черными волосками, крупные бедра и искусственные зубы, и он носит с собой неимоверное количество кино- и фотокамер.

Александрия: греческие гностики и проститутки-негритянки

Сначала нам не давали сойти на берег. «Итальянский паспорт? Ни в коем случае!» – сказал египетский полицейский, настолько же грубый, насколько упитанный. Но, в конце концов, благодаря вмешательству итальянских властей нам позволили ступить на *terra firma*¹.

Александрия – это город, о котором можно сказать, что у него великолепный фасад. Фасад Александрии выходит на море и состоит из великолепного променада Королевы Наэли. Внешний вид классической Александрии в течение тех веков, когда она оставалась одним из главных городов ми-

¹ Твердая земля (*лат.*).

ра, всегда, если верить археологам, оставался явно эллинистическим, и в новой Александрии, которая приросла в последние сто лет широкими оживленными улицами, большими современными зданиями, изящными магазинами и площадями, где можно свободно вздохнуть, есть что-то фундаментально европейское. Высокие негры-портье в отеле «Сесил» с их белыми рубашками и красными фесками производят такое впечатление, будто они там ради того, чтобы добрый путешественник мог воскликнуть: «Тут львы!»²

Однако нигде поблизости нет никаких львов. Единственное, что есть экзотического в Александрии, – это фески, в которых ходят практически все мужчины. Это самый уместный головной убор, он должен придавать солидности осанке и уверенности тем, кто его носит. Настоящий носитель фески – это полный левантинец среднего возраста, умудренный опытом, чуть зловещий, если смотреть только на его глаза, но вполне дружелюбный, если смотреть на губы и щеки. Феска также идет всем худым юношам с фанатическим блеском в глазах и всем мудрым бородатым старикам в золотых очках. Эстетика фески сложна и полна нюансов. Мистер Миллисент тут же купил себе феску. Поскольку у него левантийская наружность, она прекрасно ему подошла.

Вчера вечером мы ужинали в «Паструдисе», превосходном ресторане, куда заходят все лучшие люди Александрии.

² Выражение *Hie sunt leones*, которым на средневековых картах подписывали неведомые земли на краю мира. (Примеч. пер.)

дрии. Лучшие люди Александрии состояли из необычайно-го скопления нордических блондинок с видом уверенным, как у восклицательных знаков, в сопровождении дородных пожилых пашей. Еще там были люди из провинций, просто толстые, и буржуазные семьи, которые с жадностью уплетали изысканные блюда. Джейн трепетала от волнения. «Вы только посмотрите на шляпку на той девушке там, в углу!» – восклицала она; или: «Вы заметили Красавицу и Чудовище?» Между тем еда была превосходная. Турнедо оказался выше всяких похвал.

Красавица и Чудовище сидели рядом с нами. Это была парочка нуворишей. Должно быть, они так недавно разбогатели, что и часу не прошло. На мужчине был темно-синий костюм и пара кричаще-желтых туфель, а на женщине зеленоватое платье, которое явно шилось для дамы нормальных пропорций, а не для ее монументальных выпуклостей, которые как будто пытались вырваться из платья одновременно во все стороны. На губах у нее был килограмм помады и вагон жемчуга на шее и запястьях. Наверное, перемены в их жизни случились так внезапно, что они еще не успели оправиться от шока. Они сидели молча и неподвижно в каком-то блаженном тумане.

После ужина мы с Джейн и Пьеро отправились бродить по Александрии. Не знаю как, но к нам привязался грек, говоривший на всех языках ужасно быстро и ужасно плохо. Он был человек образованный, но при этом грязный, постоянно

пускал слюни и ковырял в носу самым бесстыдным образом. Со временем мы перешли от уважаемых мест к менее уважаемым и, наконец, к совсем не уважаемым. Между тем грек продолжал быстро что-то говорить мне, понизив голос, как будто мучительно признавался в чем-то перед смертью. Он говорил о классической Александрии и о библиотеке Птолемея. Потом процитировал несколько стихов из Каллимаха и рассказал несколько историй, показывающих утонченность ума и воображения. В конце концов, он заказал какие-то зеленые напитки.

Мы пошли по кривой дорожке, сойдя с улиц, где было просто темно, в узенькие проулки с вонючими канавами, проложенные прямо посередине, и грек преобразился. Прежде всего он заверил меня, что расстояние между Землей и Солнцем было известно в Александрии две тысячи лет назад, а потом поднялся в эмпирей гностицизма. Мы вошли в отвратительный притон, где нас окружили жуткие проститутки-негритянки – Джейн объяснила, что ей хотелось посмотреть на жизнь в нестерильном, непреукрашенном виде и на вещи, которым миллионы лет, – но грек как будто совершенно не осознавал, где находится, настолько его увлек разговор о Бездне.

– Каким воображением, какой отвагой обладали отцы гностицизма Василид и Валентин! – восклицал он. – Бога, источник всего, ключ к вселенной, они называли Бездной! Здесь, в Александрии, даже песок освящен великими деяни-

ями духа. Дамы и господа, я с гордостью провозглашаю себя гностиком; мое единственное желание – быть достойным достославной пыли, по которой мы ступаем, пыли разрушенных шедевров, рассыпавшихся папирусов, куртизанок, ученых и мучеников, цариц и поэтов...

Тем временем две жалкие женщины стали танцевать, и притом очень плохо. Они были обнажены или почти обнажены и танцевали под печальное и монотонное пение огромной женщины в черном, которая била в барабан, лежавший у нее на коленях. Никто, кроме этой женщины, по-моему, не проявлял к происходящему ни малейшего интереса. Ее монументальная грудь вздымалась и перекатывалась под покрывалом из черного хлопка, а глубоко посаженные, словно булавки в шляпке, свинячьи глазки блестели все более непристойным угаром. Грек продолжал свой монолог с неумолимостью граммофонной пластинки. Он говорил такие поразительные вещи, что я почувствовал, что должен хоть на минуту подойти к окну, чтобы взглянуть на звезды и вдохнуть ночного воздуха.

– Бездна оплодотворяет Вечное Молчание, разве вы не понимаете? – сказал он. – Именно так все и рождается. Она, вы, я, они, старуха с барабаном, даже то существо, которое там танцует, все мы дети Бездны и Молчания. Бездна – наш отец, Молчание – мать. Именно в них мы и возвратимся...

Зловещего вида негр сверкнул ножом: он решил, что ему дали мало чаевых. Джейн закричала, и мы позорно бежали.

Грек-гностики остались с проститутками.

Сегодня Джейн, ее муж, Пьеро, Вильдо и я поехали в Каир. Откуда взялась эта совершенно новая американская машина? Это не та машина, которую Джейн с мужем везли с собой, та темно-синяя; а эта светло-серая. Джейн с мужем прелестно загадочны. Я никогда не думал, что американцы могут быть загадочными, потому что тайна – признак древних цивилизаций. Мне кажется, тут открываются новые пути для размышлений и теорий.

После обычных убогих окраин мы выехали в пустыню. Вокруг Александрии нет сельской местности. Ты выезжаешь из городской застройки прямо в пустыню, из толпы в одиночество. Перед нами лежали двести, если не больше, километров асфальтовой дороги, черной, как река гудрона, протянувшейся по желтому песку, насколько мог видеть глаз. На закате мы на минуту остановились и вышли, чтобы размять ноги и пофотографировать. После нескольких дней на корабле, а потом в людном городе это был драгоценный миг наедине с природой. Длинные синие тени лежали на оранжевом песке, а небо покрылось зелеными прозрачными лоскутами. Солнце, красный огненный шар, садилось на горизонте без ореола, без какой-либо дымки.

Каир: гранит, саркофаги, тысячелетия и чеснок

Мы в Каире. Прежде чем рассказывать дальше, я должен кое-что добавить. Прошлой ночью, после захода солнца, когда мы снова сели в машину и поехали, наш водитель-мусульманин включил радио, потому что хотел послушать какие-то молитвы на какой-то станции, какой, не знаю. Так что мы пересекали пустыню под речитатив потрясающего, глубокого баса. Мы ехали километр за километром, слушая Коран. В небе висел тонкий полумесяц.

Но я продолжаю. Сегодня мы увидели пирамиды. Всегда любопытно в первый раз увидеть то, с чем ты знаком по картинкам с детства. Например, когда впервые приехал в Японию, я с изумлением увидел, что Фудзияма, которая казалась такой гладкой и приветливой на иллюстрациях, оказалась изрезанной, мрачной и скалистой. Пирамиды тоже оказались не такими, как я ожидал. Во-первых, они цветные. Черно-белые фотографии и рисунки в школьных учебниках географии дают такое впечатление, будто они сероватого цвета, что совершенно не так. На самом деле они коричневатые, цвета обожженной глины, или даже темно-желтые. При первом взгляде издалека они внушительны, как горы, и голубоватые между вершинами.

К тому же они не гладкие; их грани изборозжены настолько, что когда ты рядом, кажется, будто они построены сту-

пеньками. Это потому, что люди и время лишили их древней облицовки. Я поднялся по лестнице на вершину самой большой пирамиды, Великой пирамиды Гизы, без всякого труда.

Наверху я сидел и осматривал окрестности, как осматривают панораму с вершины горы. Я увидел Нил и другие пирамиды вдалеке, целое месторождение пирамид. Я не знал, о чем думать, то ли о древних царях, то ли о таинственных силах природы. Но я сидел не на горе, а на рукотворной гряде из двух миллионов каменных блоков, каждый из которых весит две с половиной тонны. Гора может внушить удивление или ужас при мысли о подземных силах, вытолкнувших ее к небу. Пирамиды наполняют тебя непрерывным изумлением при мысли о постоянном упорстве, с которым руки человека возводили эти гигантские сооружения; о тонком математическом, астрономическом, геомантическом остове, который, словно скрытая паутина, своим немым и прочным кружевом невидимо удерживает колоссальный вес; о похороненных и забытых людях, о страданиях которых могли бы рассказать эти камни, если бы вспомнили те дни, когда руки, груди и плечи рабов переносили их, поднимали и устанавливали на место, которое спустя тысячи лет они занимают по сей час.

За мной на вершину поднялся нечистый и докучливый араб, от которого несло чесноком («Я провожай на пирамиды, господин дай мне бакшиш?»), и я никак не мог от него отвязаться. Он шел за мной всю дорогу вниз и в комнатку в самом сердце пирамиды, которая служила гробницей для

фараона. Мы на четвереньках ползли по темным туннелям, пока не добрались до погребальной камеры в центре грандиозного сооружения. Стояла жуткая тишина. Гранит, саркофаги, тысячелетия и чеснок.

Красное море: «Я, к примеру, ненавижу науку»

Мы снова сели на корабль в Порт-Саиде и вскоре уже были в Суэцком канале, еще одном величественном произведении человеческих рук: бескрайние песчаные просторы по обе стороны и полоска синей воды, прорезающая их насквозь.

Джейн, сидя в шезлонге, расчесывала Вильдо. Разговор зашел о достоинствах Суэцкого и Панамского каналов.

– Я предпочитаю Суэц, – сказала Джейн. – Он более величественный. Ты каждую минуту осознаешь, как потрудился человек. Это один длинный, непрерывный, поразительный разрез, отграничивающий Азию от Африки. Это не канал, а разрез скальпелем хирурга.

– Значит, море – это кровь земли? – напыщенно воскликнул я и рассмеялся.

– Да. Это банально? В банальностях часто кроются великие истины. Может быть, вы слишком молоды. Во второй половине своей жизни вы возвращаетесь к банальным вещам с нежностью... Вильдо, не вертись, мой малыш!

Вильдо скакал, как дракончик, пытаюсь поймать муху;

каждый раз, как он промахивался, его зубы щелкали с таким стуком, как будто захлопывалась крышка на шкатулке из слоновой кости.

– Соглашусь насчет банальностей, – ответил я. – Но я предпочитаю Панамский канал. Он извилистый, по пути ты проходишь сквозь настоящие леса. И потом, там все эти озера и островки. В Панамском канале стоит постоять на палубе и посмотреть, потому что ландшафт постоянно меняется. А здесь ты уже через пять минут знаешь, что все будет точно так же еще сотни километров; на самом деле до завтрашнего дня.

На следующий день мы вышли в Красное море, синева которого была достойна Средиземного. Было еще довольно прохладно; настоящая жара начнется только через два дня, когда мы приблизимся к Массаяу.

В тот вечер я долго сидел на палубе, беседуя с Джузеппе Туччи.

– Мне нравится только то, в чем есть тайна, – сказал он мне, пока свирепое металлическое солнце катилось по горизонту.

Гора Синай виднелась вдалеке навязчивым фиолетовым призраком, наводящим на мысли о божественных явлениях и inferнальных ужасах в этой земле отшельников, мощей, камней и кипарисов.

– Мне интересно все, что необъяснимо, запутанно, неясно, – продолжал Туччи. Потом он прибавил, как будто ис-

пугался, что выдал себя: – Я ненавижу определенность и ясность. Я, к примеру, ненавижу науку!

Джузеппе Туччи обожает парадоксы; от них он счастлив. Но это потребность его интеллекта, а не всей его личности. Если бы Джузеппе Туччи действительно ненавидел науку, он не был бы Джузеппе Туччи и не оставил бы потомкам ряд образцовых исследований как памятник своему огромному труду и исследованиям. Возможно, он не хочет, чтобы ему верили, когда он говорит; что очаровывает и стимулирует его, это звук его собственного голоса, сцепление логических тезисов в странные силлогизмы, окончательные умозаключения из каждой посылки.

Чтобы как следует узнать Джузеппе Туччи, надо увидеть его таким, каков он сейчас, в путешествии. Его каюта превращена в библиотеку, в кабинет ученого, в святилище. Стюард, который убирает его кровать каждое утро, должен двигаться с особой осторожностью, чтобы не тронуть стопок его бумаг и книг. Поверх гранок книги, которая должна скоро выйти, наверняка лежит какой-нибудь бенгальский трактат о логике или немецкая диссертация о древнекитайской поэзии; везде машинописные листы вперемешку с толстой мраморной бумагой с тибетским сочинением о йоге, а всю стопку венчает томик Валери или перевод Хейзинги.

Джузеппе Туччи – почти уникальный современный пример нового гуманизма, в котором китайские философы, как Чжуан-цзы, тибетские поэты, как Миларепа, японские дра-

матурги, как Тикамацу, не просто экзотические орнаменты далеких цивилизаций, а живые голоса, звучащие в мыслях, как традиционно звучали Платон, Лукреций или Плавт на протяжении веков. В этом Джузеппе Туччи на два или три века опередил современную Европу.

– Вы верите в науку, – заключил профессор. – Иными словами, вы жертва иллюзии. Наука постулирует, что «я» и «не-я» связаны неразрывными отношениями. Какая детская выдумка!

Солнце скрылось за пиками Синая. Туччи потер ладони и продолжил опустошать содержимое не-я.

Массауа и Джибути

В Массауа стоит адская жара, обычная для этих мест. Над нами наконец нависла тяжелая, влажная духота тропиков. Здесь тоже у нас возникли трудности, прежде чем нам позволили сойти на берег. Но когда наконец ступили на землю, мы очутились в совершенно итальянском городе с обычной рекламой «фиатов», пива «Перони» и оранжада «Сан-Пеллегрино» и с людьми, говорившими с сицилийским, пьемонтским или венецианским акцентом.

Многие итальянцы, плывшие на нашем корабле, сошли накануне вечером, и теперь на борту осталось совсем мало пассажиров: несколько шведов и швейцарец, американская пара и мы сами. Я поговорил кое с кем из местных. Они

говорили с печалью, это было естественно, но мне кажется, они все-таки надеялись, что их труд не окажется напрасным, что что-нибудь останется, должно остаться, и в любом случае они справятся, проявив терпение и энергию, типичные для жителей итальянской глубинки. Меня тронуло, с какой приятнью местные говорили об итальянцах.

Из Массауа мы двинулись в Джибути – короткий путь, совершенно неинтересный. В Джибути было большое волнение. Мы прибыли около полудня и сошли на берег. Вернувшись на корабль к ужину, увидели, что все – во всяком случае, в первом классе – в страшной суматохе. Когда я смог реконструировать факты, оказалось, что случилось следующее. Часа в три дня Вильдо, по-видимому, вышел из каюты в одиночку и пошел гулять по палубе. Там был открыт люк, и маленькая псинка упала в него, никто не видел как, и сломила лапу. Когда мистер Миллисент вернулся из Джибути и нашел Вильдо с таким видом, как будто тот умер, его до такой степени захлестнули чувства, что он упал в обморок. На добрых десять минут воцарилась полная паника. Никто не знал, за что взяться сначала – то ли позаботиться о бедном Вильдо, то ли приводить в чувство его незадачливого хозяина. Джейн разрывалась, она то дула в лицо мужу, то баюкала на руках бедную собачку.

К тому времени, как явились мы, худшее уже закончилось, и мистер Миллисент почти совсем оправился.

– Как же я перепугался! – воскликнул он. – Когда я увидел

Вильдо, я решил, что он умер! Умер!

К Джейн вернулось спокойствие и остроумие. Вильдо, замотанный бинтами, кажется, был на седьмом небе от счастья.

Позднее тем же вечером мы с Пьеро Меле опять сошли на берег. У нас был забавный разговор с одним сомалийцем, который долго рассказывал нам о том времени, когда «здесь были итальянцы». «Тогда все было очень хорошо, – сказал он. – Ни с кем так не поешь, как с итальянцами». Он имел в виду, что, когда там были итальянцы, ему хватало еды, а сейчас он бедный голодный малый.

Аден: чудеса, Мексика, кочевники, пластырь

Во время короткого перехода из Джибути в Африке в Аден на берегу Аравии весь корабль был мобилизован в пользу Вильдо: медсестры для уколов, кухня для особых блюд, буфет для льда. Вильдо в бинтах и с абсолютно довольным выражением восседал на шезлонге, как на троне, со всем величием старого, подагрического махараджи. Мистер и миссис Миллисент по очереди ходили есть, и кто-то один оставался с драгоценным пациентом. Джейн уходила первой, быстро глотала еду и исчезала. Через несколько минут приходил ее муж с выражением мучительного страдания на лице. По ночам они, видимо, по очереди сидели с Вильдо. Кажалось, даже Джейн теряет свое обычное чувство юмора.

За коктейлем Пьеро предложил тост.

– За здоровье Вильдо! – сказал он.

– Да, и за мое поражение, – заметила Джейн. – Скоро, пожалуй, потребуется маленькое чудо.

– Или нянька?

– Мой муж никогда этого не позволит. Доверить Вильдо няньке! Вы с ума сошли?

Слово «чудо» дало начало разговору за нашими спинами. То и дело до нас долетали его обрывки.

– Мы так мало знаем о мире, что я позволяю себе верить в чудеса – настоящие чудеса, я имею в виду, когда приостанавливаются законы природы или когда нарушаются законы природы, или назовите как хотите.

– С этим я никак не могу согласиться. Это значило бы полностью отказаться от разума. Мы называем чудесами то, чего не понимаем. Есть столько вещей, которые были чудесами для первобытных народов, но уже не для нас – молния, землетрясения, кометы, например. По сравнению с будущим, с человечеством на более высоких ступенях развития, мы все еще дикари. Наши чудеса будут частью их науки.

Между тем Джейн рассказывала нам о Мексике.

– Вы обязательно должны побывать в этой стране, – сказала она. – Это единственная цивилизованная страна во всем Западном полушарии.

– Цивилизованная, потому что там цивилизации успешно ведут гражданскую войну?

– Может быть; или, может быть, потому, что у людей есть

смелость иметь веру; а еще потому, что она, как Александрия, в том смысле, в каком говорил ваш греческий друг; где пыль художников, императоров и тому подобное.

Утром мы прибыли в Аден. В семь часов мистер Миллисент был готов и ждал, одетый во все белое, хотя обычно он целый день ходил в шортах, пока не наступало время переодеться к обеду. Он заказал моторный катер и спустился на берег, чтобы договориться насчет операции для Вильдо у лучшего местного ветеринара. Через час он вернулся, чтобы забрать Вильдо на берег. Мы позднее узнали, что на операции он не присутствовал. «Я бы умер, если б увидел, как он страдает», – сказал Миллисент.

Мы тоже сошли на берег. Базар в Адене – это самое живое, самое калейдоскопическое зрелище из всех портовых городов Востока. Пастухи, кочевники и бродяги из Йемена и Хадрамаута приходят в город, чтобы посмотреть, купить, удовлетворить свое любопытство и получить удовольствие, и смешиваются с толпой сомалийцев, индийцев, евреев, негров. Ты часто видишь высоких, худощавых молодых людей с необычайно изящными чертами и длинными волосами, с кожей цвета старой бронзы, в одеяниях экзотических цветов, с ятаганами и кинжалами.

Мы отплывали в полдень и вернулись на борт. Корабль был готов, все ждали. Кого? Ну конечно, Вильдо. Операция, видимо, оказалась сложнее, чем ожидалось. Наступил час дня, половина второго, а Вильдо все не было видно. Капитан

ходил мрачный. В конце концов показался чудовищно ревущий катер. Мистер Миллисент стоял на носу катера с Вильдо на руках, на корме сидела Джейн под зеленым навесом от солнца.

Как только все трое поднялись на борт, Джейн урегулировала довольно деликатную международную ситуацию. Со всем очарованием и естественностью она пригласила капитана и офицеров на коктейль. Кто бы в данных обстоятельствах мог обижаться на такую леди, как миссис Миллисент? Вильдо весь был обмотан пластырем и, по всей видимости, чувствовал себя важным, как никогда. Похоже, он не замечал, какие взгляды бросали на него то и дело. К счастью для него, он глуп. Умная собака сдохла бы от стыда.

У врат Индии: как сбежать от майи

Мы приближались к Бомбею. Вплоть до Адена расстояния между портами были небольшие; после Адена мы несколько дней пересекали Индийский океан. В это время года – в марте – на море штиль или еле заметная рябь, синяя гладь под ясным небом; через несколько месяцев начнется сезон муссонов, и оно будет в постоянном волнении, ужасного зеленоватого или желтушного цвета под низким белым небом, которое одновременно и удушает, и сплит.

Вильдо решительно поправляется; он бежит по палубе, прихрамывая на залепленную пластырем лапу, и Миллисент-

ты снова обедают вместе. Я свел дружбу с молодым сицилийским врачом, который едет в Индию, чтобы работать при католической миссии, но он говорит мне, что настоящая его цель – изучать йогу.

– Понимаете, – заключает он свою длинную тираду, – я всегда очень интересовался тем фактом, что определенные состояния ума могут влиять на состояние тела. Как получается, что больной может исцелиться под влиянием психологического импульса? Может быть, йога многому меня научит.

Слова, которые дома показались бы дикими или фантастичными, уже начинают казаться осмысленными. На самом деле на горизонте уже видны очертания Гхат, поднимающихся позади Бомбея; мы фактически уже у врат Индии. Ничто не может лучше йоги выразить внутренний дух страны, к которой мы приближались. Йога символизирует Индию во всей ее философской глубине, в ее метафизических полетах, ее нравственном дерзании, ее извечном взгляде на человека как на неразделимую тождественность ума и тела, ее уверенность в себе посреди тайн, ее доверительные отношения со смертью и достойный восхищения символизм.

Йога предлагает мудрецу способ спастись от майи (иллюзии, в которой пребывают преходящие существа, которым суждена погибель) и войти в полноту бытия, которое выходит за рамки становления. Долгими и упорными усилиями он получает возможность преодолеть одну за другой восемь

стадий, ведущих к освобождению. В процессе он не может сделать передышку; не может быть никакого перемирия ни для единого аспекта его бытия. Он медленно тренирует свое тело продолжительными аскетическими практиками, чтобы оно превратилось в нечто вроде музыкального инструмента, способного вибрировать в ответ на скрытые импульсы, управляющие дыханием вселенной. Его интеллект должен быть очищен при помощи последовательного отказа от всех ложных стремлений, пока он не приобретет осознание жизни за рамками форм и идей; а его подсознание должно пройти через длительную подготовку, пока мыслящий индивид не сможет по-настоящему уничтожить себя, исчезнуть в объекте своей мысли, в вечном, бесконечном, в Абсолюте.

Джейн присоединилась к нашей компании с Вильдо на руках. Мы все с удовлетворением отметили, что во внешности собаки появился некоторый намек на философскую глубину. Так что же, псинка, страдание идет во благо? По крайней мере, в этом ты похож на человека!

Бомбей уже чуть-чуть виднеется белой полоской на зали- том солнцем индийском берегу. Через час мы будем в порту.



Глава 2

Индоготический стиль и невидимые джунгли

Бомбей: познавая мир собственным носом

Британцы всегда гордились Бомбеем, и в общем-то не зря. Это по-прежнему индийский город, где лучше всего чувствуется западное влияние. У него широкие улицы, обрамленные деревьями площади, парки и дорожки вдоль берега. Кроме того, в некоторых его особенностях трогательно проявилась ностальгия по Лондону, которую испытывали викторианские архитекторы, построившие большую его часть.

Определенно это город без истории. С этой точки зрения по сравнению с Дели или Бенаресом он малоинтересен. В 1661 году король Англии Карл II получил остров, где теперь стоит город, в качестве приданого за Екатериной Браганской. Все, что там было, – это несколько хибар и, может, пара португальских факторий. Бомбей занял свое выдающееся положение только около века назад, когда британские банки начали открывать там филиалы и были построены первые железнодорожные линии в глубь страны. Количество жите-

лей быстро выросло с двухсот тысяч до миллиона, а потом и до полутора миллионов.

Сто лет Бомбей был фасадом британской индийской империи. Когда тыходишь к нему с моря, одно из первых сооружений, которое бросается в глаза, – это Врата Индии, что-то вроде триумфальной арки, в которой неудачно соединились двадцать разных стилей. На самом деле весь Бомбей уродлив, но это уродство того типа, который скоро может стать интересным. Вполне можно себе представить, что через сто лет туристы будут серьезно рассматривать этот город как жемчужину фантастического индоготического стиля. Наше поколение еще слишком близко к тому, что создало эти гибридные чудовища, рожденные от союза между Реймсом, Кельном и Упсалой, с одной стороны, и Гвалиором, Джодхпуром и Танджавуром – с другой. Но наши внуки, может быть, будут взирать на дворцы телефонной компании и банка, протестантские церкви, вокзалы и гостиницы, на все храмы библейско-промышленно-железнодорожной цивилизации XIX века с тем же искушенным и слегка извращенным удовольствием, с которым мы посещаем доорическо-барочный собор в Сиракузах или тосканско-мавританскую виллу Панчатики в Валь-д'Арно.

Мы остановились в «Тадж-Махале», гостинице, которую прославил роман Луиса Бромфилда «Ночь в Бомбее». Так назвать гостиницу в Индии – это то же самое, что назвать

итальянский отель «Ка д'Оро» или «Вилла д'Эсте»³. Он напоминает одну из прекраснейших архитектурных жемчужин Индии, мавзолей, который император Великих Моголов Шах-Джахан построил в Агре в память о возлюбленной жене Мумтаз-Махал. Своей архитектурой отель, видимо, по большей части обязан итальянцу Джеронимо Веронео. На полковника Мойза, который очутился в стенах отеля со всеми этими знаменитыми романтическими вещами, всеми этими экзотическими словами и величественными воспоминаниями, они произвели большое впечатление, и он больше ни о чем не хотел говорить. Спускаясь на обед, мы прошли мимо парсянки необычайной красоты, закутанной, словно богиня, в парчовое платье, и добрый очарованный полковник все бормотал про себя: «Ну просто как в романе, ну просто как в романе!»

«Тадж-Махал» – просторное здание, построенное таким образом, чтобы сделать невыносимый климат чуть менее невыносимым. Бомбейский климат не только чрезвычайно жаркий, он еще чрезвычайно влажный и потому изнуряющий. Когда-то говорили, что человек в Бомбее может пережить только два муссона. Это было в те времена, когда тропические болезни властвовали безраздельно. Сегодня, при строительных и санитарных усовершенствованиях, половица уже не верна. Но зной остается прежним – гнету-

³ Ка д'Оро и вилла д'Эсте – венецианский дворец XV века и вилла в Тиволи XVI века, шедевры итальянской архитектуры. (*Примеч. пер.*)

щим до изнеможения. Вот почему бесчисленные вентиляторы «Тадж-Махала» непрерывно гоняют воздух по просторным коридорам. Все открыто и проветривается, так чтобы даже самый мимолетный сквозняк смог найти поддержку и испарить еще один миллиграмм влаги со вспотевшей кожи гостя.

Вентиляция также гоняет и духи, не говоря уже о других запахах. Некоторые из них агрессивны, к которым ты не привык; они терзают нос, как восточная музыка уши. Я утверждаю, что именно посредством носа чувствительный человек может в первую очередь распознать величие Бомбея как мегаполиса. За дверями «Тадж-Махала», на улице Хорнби, у базара Боран или в запутанных аллеях Каматипуры ты живее всего ощущаешь этот феномен. Ты оказываешься в окружении афганцев и бенгальцев, крестьян из Декана и гималайских горцев, парсов и индийцев, таинственных, маленьких, смуглых тамильцев и больших сикхов в тюрбанах, с длинными бородами и одухотворенным взглядом. Там на тебя тоже нападают запахи – сбивающий с толку, ошеломляющий океан запахов. Но в «Тадж-Махале» по-другому. Здесь, удобно сидя в кресле с полузакрытыми глазами, ты можешь за полчаса различить десять разных цивилизаций во всем их обонятельном великолепии, каждая не похожа на другие, и можно изучать свойства каждой и проводить тонкие классификации.

Вот идет девушка-индианка в белых шароварах, в туфлях

на каблуках и сари. У нее алые ногти, в руках сумка – европейское влияние. Она оставляет за собой аромат дешевого одеколона, но под ним оттенок сандалового дерева и непонятных пряностей и, может быть, чеснока. Потом проходит высокий, изможденный индеец, вытянутый шарж на господина Неру. От него пахнет чистотой, отточенной тысячелетиями омований и вегетарианской диеты, но он тоже что-то оставляет за собой – слабый намек на гвоздику. Какое-то время ничего не происходит. Потом проходит североевропеец, которого можно опознать по сигаре, поту и запаху масла для волос. Потом идет группа бизнесменов-мусульман с усами, намаженными волосами и уверенным, потенциально воинственным, загадочно-агрессивным видом, но, как ни странно, со сладковатым, женственным запахом.

Бомбей: как сделать так, чтобы тебя поняли

Какая реальная основа для объединения может быть у четырехсот миллионов человек разных рас, культур и вероисповедания, порой невероятно далеких друг от друга? Индостан – это географическое единство⁴, но там нет никакого демографического единства. Для подавляющего большинства его жителей сама идея Индии сравнительно нова. Она такая

⁴ Сравните с Италией. Гималаи – Альпы, долина Ганга – долина По, горы Гхат – Апеннины, Цейлон – Сицилия, Бомбей и Калькутта – Генуя и Венеция. (Примеч. авт.)

хрупкая, что, когда британцы ушли оттуда, она тут же развалилась надвое: Индию и Пакистан.

Самая серьезная проблема – языковая. В одной только Индии пятьдесят миллионов человек говорят на бенгальском – высокоразвитом языке с выдающейся литературой, шестьдесят миллионов – на хинди, двадцать миллионов – на маратхи, двенадцать миллионов – на ория и больше шестидесяти миллионов – на дравидийских языках, и этот факт дает некоторое представление о проблеме, стоящей перед властями.

Лингвистическая карта Индии ярко иллюстрирует ее многовековую историю. На север расширяется компактная группа языков, связанных с позднейшими завоевателями – арийцами, которые говорили на языке, родственном европейским. В то время как на Западе латынь эволюционировала в итальянский, французский, испанский и так далее, на Востоке из санскрита и параллельно санскриту развивались хинди, бенгали, гуджарати, патхани и многие другие языки и диалекты. В течение тысячелетий эта группа распространялась на Восток за счет южных языков, принадлежащих к дравидийской семье, которая не имеет ничего общего с индоевропейской. То, что на дравидийских языках когда-то говорили по всей Индии, доказывает тот факт, что до сих пор есть народы, например брагуи, в изолированных и глухих районах севера, которые говорят на дравидийских диалектах.

В Индии люди всегда приходили с севера. Последователь-

ные волны шли по пятам друг за другом с интервалом в несколько веков. Поэтому юг представляет самый древний, туземный уровень, субстрат, лежащий подо всем остальным. По-настоящему автохтонный уровень или самый старший, мунда-полинезийский уровень, полностью рассеялся. Сначала дравидийское, потом арийское вторжение оставило только маленькие группы людей, разбросанные по Деканскому плоскогорью, которые все еще говорят на своих диалектах.

В целом в Индии говорят на более чем двухстах более-менее разных языках; в Европе едва найдется пятьдесят. Перед Индией стоит и другая трудность, не знакомая Европе. Помимо всех этих разных языков у нее несколько разных алфавитов. Говорящие на урду и языках северо-запада пользуются алфавитом персидского происхождения. Говорящие на хинди и родственных языках используют деванагари; а языки юга записывают тамильским алфавитом.

Сегодня я весь день занимался тем, что организовывал разгрузку экспедиционного багажа и его транспортировку в Калькутту. Багаж состоит из ста шестидесяти восьми отдельных предметов, включая разнообразные ящики, коробки и мешки. Дипломатические ухищрения Джузеппе Туччи просто восхитительны. Он точно знает, когда надо подняться на национальный уровень и говорить об «итальянской экспедиции», а когда свести ее на уровень частной поездки просто-

го ученого в поисках самосовершенствования и говорить об «экспедиции профессора Туччи на Тибет». Стоит заметить, и без какой-либо укоризны, что одна из главных трудностей, стоявших перед всеми исследователями от Марко Поло до Стэнли, – это их отношения с правительствами и другими властями, которые подозревали и ревниво следили друг за другом. В этом смысле хороший исследователь являет собой триумф индивидуализма над неизменной мелочностью властей. Часто он играет роль защитника науки и человеческих ценностей перед предрассудками и реакцией.

На бомбейских вокзалах интересно наблюдать за повседневной жизнью в Индии. В тамошней сутолоке можно увидеть людей со всех частей огромного полуострова. Возвращаясь к языковому вопросу, я заметил, что служащие и пассажиры часто пользуются английским. На определенном уровне образованности английской действительно превратился в койне, общий язык. Необразованные люди выкручиваются, как могут, на своем языке, дополняя его по необходимости выразительными жестами.

Элефанта: лицо, Абсолют

Море – как человеческое тело. Оно может быть красивейшим в мире или ужаснейшим. Средиземное море с его прозрачной водой, скалистыми мысами, которые погружаются от голубого неба в голубые, чистые глубины, напоминает о

бронзовой коже молодых мужчин и женщин, привычных к открытому воздуху и дыханию ветра на их здоровых телах. Но море в Бомбее – старое море в состоянии гниения, желтое, смердящее, покрытое грязью. Мысль о том, чтобы нырнуть в него, вызывает отвращение. От него несет отходами, канализацией и экскрементами.

Такова была полоска гнилостной воды, которую мы пересекли под белым, ослепительным небом на выдавшей виды старой лодке с выдавшим виды старым мотором, из которого изо всех щелей сочилось масло, до острова и пещер Элефанты. Но малоприятное начало часто усиливает последующее удовольствие. Когда мы высадились на заросшем островке, он сразу же поразил нас своею красотой. Мы медленно поднялись по ступенькам – было очень жарко – и прошли по аллее из цветущих деревьев. Разноцветные птицы с любопытством смотрели на нас с ветвей. Холм стал круче и в конце концов почти отвесным. Мы дошли до пещер.

Эти пещеры с невероятным трудолюбием вырезаны из живого камня; невозможно взирать на них без изумления. На первый взгляд их можно сравнить с некоторыми пещерами из серого песчаника в Монте-Чечери в окрестностях Флоренции или с пещерами Кордари в Сиракузах, но пещеры Элефанты совершенно правильные, гораздо глубже и гораздо загадочнее. Кроме того, это не природный, а рукотворный храм духа. Веками их использовали как храм. Паломники до сих пор собираются в них каждый февраль, а памятные

скульптуры, украшающие стены, говорят о великом для человечества – о мифах, космологиях, жизни, жертвенности, поэзии, красоте и смерти.

Мы прошли между монолитными колоннами в конец самой большой пещеры, где стоит колоссальный бюст Шивы с тремя головами, слабо освещенный далекими отсветами. Точный смысл этой великолепной статуи индийского бога был предметом долгой дискуссии. Лицо слева от наблюдателя, видимо, изображает бога в его свирепом аспекте разрушителя, справа – в аспекте созидателя, а среднее представляет его в виде Абсолюта. Известно одно: нигде в мире нет такой большой статуи, так же пропитанной духовным величием. Кажется, Джеймс Джойс сказал, что в произведении искусства главное – глубина, из которой оно вырастает. Думая об этой статуе, ты чувствуешь глубину, которой в нашей цивилизации достигли лишь немногие (один из них Леонардо да Винчи). В этой возвышенной красоте силуэта, намеренной, космической, слегка ироничной безмятежности, как и пристало богу, ибо вселенная в первую очередь ужасна – огонь и лед, боль и разрушение, – именно образную концепцию Абсолюта в виде самого человека никогда не мог презойти человеческий ум.

Элефанта: мир как собор и как утроба

Индия – это азиатская Греция. Индия была для Востока

тем, чем Греция была для Запада, для нас; то есть местом рождения всех философских идей и всех влияний в искусстве и поэзии, которые в течение тысячелетий определяли и в какой-то степени до сих пор определяют интеллектуальную жизнь миллионов людей. Кроме того, Индия была и чем-то иным. Греция не дала западной цивилизации религию, которая впоследствии стала самой кровью жизни, но в буддизме Индия подарила Азии ее самое поразительное цивилизующее влияние.

В связи с параллелью между Грецией и Индией и чтобы подчеркнуть разный характер этих двух цивилизаций позвольте мне вспомнить фразу Груссе: «Индия – это чрезмерная Греция». В Греции все стремится к гармонии. Парфенон – символ искусств, и можно сказать, что «Федон» Платона и теория Птолемея сыграли одинаковую роль для мысли. Греческая математика и геометрия сосредоточивались на измеримом и конечном, сторонясь, как интеллектуального греха, таких исследований, которые вели к бесконечно большому или бесконечно малому.

С Индией, этой «чрезмерной Грецией», все по-другому. Все в ней гипертрофированное, гигантское, кишашее, возвышенное и ужасное. Аналоги Илиады и Одиссеи можно найти в Махабхарате и Рамаяне, этих поэтических материках в десятки тысяч стихов. Индийская архитектура предлагает нам Танджавур (джунгли в камне), индийская живопись – пещеры в Аджанте, индийская скульптура – изоби-

лие фантастического символизма. Индийская философия с возвышенным безумием исследует субъективные универсалии, а индийская математика находится в плену неизмеримо большого и неизмеримо малого. В Индии ты знаешь иногда, с чего начинаешь, но никогда не можешь знать, к чему придешь. В Греции мир всегда сводился к масштабу человека; у греков была тенденция делать из вселенной удобное жилище – теплый, приветливый, разумный, понятный дом для человека. В Индии человек стремится приспособиться к фантазмагории вселенных, убегающих от него за горизонты ума к таинственным горизонтам бессознательного с его неизвестными силами.

Культ Шивы – один из самых ярких и своеобразных продуктов индийского разума. Он сплавил арийскую Индию с ее потребностью в логике, системе и свете и ночную, женственную, подземную дравидийскую Индию с ее интуицией, языком символов, фантазией, магией и чувственностью. Культ Шивы представляет нам мир как собор и мир как утробу одновременно. Мы находим в нем одновременно кристальный, минеральный простор огромного каменного нефтя, изошренно сформированного согласно математическим силовым линиям, и сумерки алькова, плодородную, таинственную, теплую, непостижимую и желанную тьму утробы.

Как можно коротко изложить философию, связанную с Шивой? В мире своих переживаний мы осознаем, с одной стороны, свет, красоту, счастье – все, что понимаем под доб-

ром; с другой стороны, в нем есть мрак, уродство, страдание и смерть – все, что мы понимаем под злом. Таким образом, в жизни есть два аспекта, и каждую религию и философию можно определить в зависимости от той позиции, которую она занимает по отношению к этой дихотомии. Вселенную, например, можно понимать как вечную борьбу между противоположными принципами добра и зла; либо ее можно понимать как основанную на добре. Если принять вторую позицию, возникает серьезная проблема – проблема происхождения зла. Эпикур лаконично выразил эту сложность более двух тысяч лет назад. Если, сказал он, Бог хочет устранить зло, но не может, он не всемогущ;

если он может устранить зло, но не хочет, он не благ. Наконец, если он может и хочет устранить зло, почему же тогда мы видим, что зло существует? Индийская школа мысли, о которой мы говорим, решает проблему зла тем, что приписывает Верховному Существу (Шиве) полную личность не только за пределами добра и зла, но внутренне одновременно и добрую и злую. Он одновременно и Шива (Благой), и Бхава (Процветающий), но он же и Кала (Время), великий разрушитель, или Бхайрава, олицетворение ужаса и смерти.

Таким образом Шива олицетворяет дикие и неукротимые силы природы, одновременно безжалостные и прекрасные, уничтожающие жизнь и рождающие жизнь в одно и то же время; он есть жестокость и свирепость законов, управляющих жизнью, но в то же время и неуничтожимый им-

пульс, который всегда заставляет жизнь, подобно Фениксу, восставать из пепла и руин. Шива является на кладбищах, в пристанище смерти и разложения, обнаженным аскетом, но его можно найти и везде, где распускается и расцветает юность. Лингам, фаллос, означает его присутствие, так же как и цветок или счастливый ребенок. Уничтожение и созидание, жизнь и смерть, добро и зло, крайнее страдание, безмятежность и крайнее удовольствие – все это в итоге упокоивается в нем. Каждое очевидное противоречие разрешается в милостивом и ужасном, свирепом и любящем, жестоком и нежном, но прежде всего в вечно таинственном Абсолюте.

Слова, которыми взывают к Шиве в Харивамше, выражают глубокое вдохновение: «Я преклоняюсь пред тобой, отец вселенной, по которой ты странствуешь невидимыми путями, ужасный бог с тысячей глаз и сотней доспехов. Молю тебя, о существо различных свойств, то совершенное и справедливое, то ложное и несправедливое. Защити меня, единственный бог, сопровождаемый дикими зверями, ты, который есть восторг, прошлое и будущее... кто обязан рождением одному себе, о вселенская сущность!»

Колоссальный бюст Шивы в Элефанте – художественное выражение этой философии. Три головы изображают не три личности, а три разных аспекта единого существа; он является таинственным и священным Шивой (Абсолют), свирепым и неумолимым Бхайравой (зло, разрушение и смерть), безмятежным и улыбающимся Вишну (жизнь, красота, без-

мятежность, радость). Художественный катарсис свершился; черты отдельных лиц передают внутренний мир чувств легчайшими намеками.

Еще одно выдающееся произведение скульптуры в этих пещерах изображает Шиву в танце тандава, танце, в котором индийская мысль попыталась символизировать вечный процесс творения вселенной, сохранения и разрушения. Грандиозный барельеф, к несчастью, был когда-то изувечен; все, что осталось, – это торс, и замысел скульптора едва различим. Печально думать, что вандализм, причинивший вред этой и другим скульптурам в Элефанте, в основном был делом рук белых людей. Остров с пещерами – увы! – слишком близко от Бомбея. В отличие от других памятников индийского искусства, открытых Западом не в такие тревожные времена, Элефанта известна нам еще с конца XVI века, и всего через несколько лет португалец Диогу ду Коуту написал свой труд «О чрезвычайно удивительной и достопримечательной пагоде Элефанта».

Легко себе представить, как отнеслись грубые и узколобые европейские торговцы к этим колоссальным памятникам цивилизации, кардинально отличающейся от их собственной цивилизации. Должно быть, некоторые испытывали презрение; другие наверняка пребывали в заблуждении, что совершают очистительное действие, разрушая то, что они, безусловно, приняли за идолов. Другие могли быть движимы простым капризом. Несомненно, были и другие мотивы.

вы, которые соединились с этими, чтобы заставить их разбиться и расколотить эти древние каменные фигуры. Так или иначе, нет необходимости забираться в такое глубокое прошлое, чтобы найти примеры близорукого фанатизма. Вплоть до недавних лет официальный путеводитель по Музею Виктории и Альберта в Лондоне, говоря об индийском искусстве, гласил: «Чудовищные фигуры пуранических божеств не соответствуют высшим формам художественного изображения». Любой человек, даже поверхностно знакомый с индийским искусством, способен понять невероятную абсурдность такого заявления.

В то же время нужно признать, что научиться ценить искусство иноземной цивилизации – это долгая и трудная задача. В течение нескольких лет я имел возможность наблюдать за тем, как трудно было японским студентам понять западную живопись и скульптуру. Тогда я поделился с ними противоположным опытом, тем, как я, в свою очередь, тоже постепенно проникал в атмосферу чужеродной цивилизации. К этому опыту надо готовиться с открытым разумом, смирением и с уверенностью в общей сути всего человечества.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.